



А. В. Суворов. Копия неизв. худ. с оригинала Дж. Аткинсона. ГИМ.

Ma vie est combat...
Voltaire

Моя жизнь — сражение..
Вольтер

ВСТРЕЧА С ВЕЛИКИМ СУВОРОВЫМ

(1793)

*Посвящается князю Александру Аркадьевичу
Италийскому, графу Суворову-Рымникскому*

С семилетнего возраста моего я жил под солдатскою палаткой, при отце моем, командовавшем тогда Полтавским легкоконным полком, — об этом где-то было уже сказано. Забавы детства моего состояли в метании ружьем и в маршировке, а верх блаженства — в езде на казачьей лошади с покойным Филиппом Михайловичем Ежовым, сотником Донского войска.

Как резвому ребенку не полюбить всего военного при всечасном зрелище солдат и лагеря? А *тип* всего военного, русского, родного военного, не был ли тогда Суворов? Не Суворовым ли занимались и лагерные сборища, и гражданские общества того времени? Не он ли был предметом восхищений и благословений, заочно и лично, всех и каждого? Его таинственность в постоянно употребляемых им странностях наперекор условным странностям света; его предприятия, казавшиеся исполняемыми как будто *очертя голову*; его молниелетные переходы, его громовые победы на неожиданных ни нами, ни неприятелем точках театра военных действий — вся эта поэзия событий, подвигов, побед, славы, продолжавшихся несколько десятков лет сряду, все отзывалось в свежей, в молодой России полной поэзией, как все, что свежо и молодо.

Он был сын генерал-аншефа, человека весьма умного и образованного в свое время; оценив просвещение, он неослабно наблюдал за воспитанием сына и дочери (княгини Горчаковой). Александр Васильевич изучил основательно языки французский, немецкий, турецкий и отчасти италийский; до поступления своего на службу он не обнаруживал никаких странностей. Совершив славные партизанские подвиги во время Семилетней войны, он узнал, что такое люди; убедившись в невозможности достигнуть высших степеней наперекор могущественным завистникам, он стал отличаться причудами и странностями. Завистники его, видя эти странности и не подозревая истинной причины его успехов, вполне оцененных великой Екатериной, относили все его победы лишь слепому счастью.

Суворов вполне олицетворил собою героя трагедии Шекспира, поражающего в одно время комическим буфонством и смелыми порывами гения. Гордый от природы, он постоянно боролся с волею всемогущих вельмож времен Екатерины. Он в глаза насмехался над могущественным Потемкиным, хотя часто писал ему весьма почтительные письма, и ссорился с всемогущим австрийским министром бароном Тугутом. Он называл часто Потемкина и графа Разумовского своими благодетелями; отправляясь в Италию, Суворов пал к ногам Павла^[1].

Было ли это следствием расчета, к которому он прибегал для того, чтобы вводить в заблуждение наблюдателей, которых он любил ставить в недоумение, или, действуя на массы своими странностями, преступавшими за черту обыкновения, он хотел приковать к себе всеобщее внимание?

Если вся жизнь этого изумительного человека, одаренного нежным сердцем^[2], возвышенным умом и высокою душой, была лишь театральным представлением и все его поступки заблаговременно обдуманы, — весьма любопытно знать: когда он был в естественном положении? Балагурия и напуская на себя разного рода причуды, он в то же время отдавал приказания армиям, обнаруживавшие могучий гений. Беседуя с глазу на глаз с Екатериной о высших военных и политических предметах, он удивлял эту необычайную женщину своим оригинальным, превосходным умом и обширными разносторонними сведениями^[3]; поражая вельмож своими высокими подвигами, он язвил их насмешками, достойными Аристофана и Пирона. Во время боя, следя внимательно за всеми обстоятельствами, он вполне обнимал и проникал их своим орлиным взглядом. В минуты, где беседа его с государственными людьми становилась наиболее любопытною, когда он, с свойственной ему ясностью и красноречием, излагал ход дел, он внезапно вскакивал на стул и пел петухом либо казался усыпленным вследствие подобного разговора; таким образом поступил он с графом Разумовским и эрцгерцогом Карлом. Лишь только они начинали говорить о военных действиях, Суворов, по-видимому, засыпал, что вынуждало их изменять разговор, или, увлекая их своим красноречием, он внезапно прерывал свой рассказ криками петуха. Эрцгерцог, оскорбившись этим, сказал ему: «Вы, вероятно, граф, не почитаете меня достаточно умным и образованным, чтобы слушать ваши поучительные и красноречивые речи?» На это Суворов возразил ему: «Проживете с моих лет и испытаете то, что я испытал, и вы тогда запоете не петухом, а курицей». Набожный до суеверия, он своими причудами в храмах вызывал улыбку самих священнослужителей.



Штурм Очакова 6 декабря 1788 г.
Гравюра А. Берга по оригиналу Ф.
Казановы. 1792 г. ГИМ.

Многие указывают на Суворова как на человека сумасбродного, невежду, злодея, не уступавшего в жестокости Атилле и Тамерлану, и отказывают ему даже в военном гении. Хотя я вполне сознаю свое бессилие и неспособность, чтобы вполне опровергнуть все возводимые на этого великого человека клеветы, но я дерзаю, хотя слабо, возражать порицателям его.

Предводительствуя российскими армиями пятьдесят пять лет сряду, он не сделал несчастным ни одного чиновника и рядового; он, не ударив ни разу солдата, карал виновных лишь насмешками, прозвищами в народном духе, которые врезывались в них, как клейма. Он иногда приказывал людей, не заслуживших его расположения, выкуривать жаровнями. Кровавое пролитие при взятии Измаила и Праги было лишь прямым последствием всякого штурма после продолжительной и упорной обороны. Во всех войнах в Азии, где каждый житель есть вместе с тем воин, и в Европе во время народной войны, когда гарнизоны, вспомаществуемые жителями, отражают неприятеля, всякий приступ неминуемо сопровождается кровавым пролитием. Вспомним кровавые штурмы Сарагосы и Тарагоны; последнюю овладел человеколюбивый и благородный Сюшет. Вспомним, наконец, варварские поступки англичан в Индии; эти народы, кичащиеся своим просвещением, упоминая о кровавом пролитии при взятии Измаила и Праги, умалчивают о совершенных ими злодеяниях, не оправдываемых даже обстоятельствами. Нет сомнения, что если б французы овладели приступом городами Сен-Жан-д'Акр и

Смоленском, они поступили бы таким же образом, потому что ожесточение осаждающих возрастает по мере сопротивления гарнизона. Штурмующие, ворвавшись в улицы и дома, еще обороняемые защитниками, приходят в остервенение; начальники не в состоянии обуздать порыв войск до полного низложения гарнизона.

Таким образом были взяты Измаил и Прага. Легко осуждать это в кабинете, вне круга ожесточенного боя, но христианская вера, совесть и человеколюбивый голос начальников не в состоянии остановить ожесточенных и упоенных победою солдат. Во время штурма Праги остервенение наших войск, пылавших мстостью за изменническое побиение поляками товарищей, достигло крайних пределов. Суворов, вступая в Варшаву, взял с собою лишь те полки, которые не занимали этой столицы с Игельстромом в эпоху вероломного побоища русских. Полки, наиболее тогда потерпевшие, были оставлены в Праге, дабы не дать им случая удовлетворить свое мщение. Этот поступок, о котором многие не знают, достаточно говорит в пользу человеколюбия Суворова^[4].

В это время здравствовал еще знаменитый Румянцев, некогда начальник Суворова, и некоторые другие вожди, украшавшие век чудес — век Екатерины; но блеск имен их тонул уже в ослепительных лучах этого самобытного, неразгадываемого метеора, увлекавшего за собою весь мир чувств, умов, вниманий и доверенности своих соотечичей, и увлекавшего тем, что в нем не было ни малейшего противозвучия общей гармонии мыслей, поверий, предрассудков, страстей, исключительно им принадлежащих. Сверх того, когда и по сию пору войско наше многими еще почитается сборищем истуканов и кукол,двигающихся по средству одной пружины, называемой страхом начальства, — он, более полустолетия тому назад, положил руку на сердце русского солдата и изучил его биение. Он уверился, вопреки мнения и того и нашего времени мнимых наблюдателей, что русский солдат, если не более, то, конечно, не менее всякого иностранного солдата причастен воспламенению и познанию своего достоинства, и на этой уверенности основал образ своих с ним сношений. Найдя повинование начальству — сей необходимый, сей единственный склей всей армии, — доведенным в нашей армии до совершенства, но посредством коего полководец может достигнуть до некоторых только известных пределов, — он тем не довольствовался. Он удесятерил пользу, приносимую повинованием, сочетав его в душе нашего солдата с чувством воинской гордости и уверенности в превосходстве его над всеми солдатами в мире, — чувством, которого следствию нет пределов.

Прежние полководцы, вступая в командование войсками, обращались к войскам с пышными, непонятными для них речами. Суворов предпочел жить среди войска и вполне его изучил; его добродушие, доходившее до простодушия, его причуды в народном духе привлекали к нему сердца солдат. Он говорил с ними в походах и в лагере их наречием. Вместо огромных штабов он окружал себя людьми простыми, так, например, Тищенкою, Ставраковым.

Но к чему послужило бы, — я скажу более, — долго ли продолжалось бы на своей высоте это подъятие духа в войсках, вверенных его начальству, если б воинские его дарования, — я не говорю уже о неколебимой стойкости его характера и неограниченной его предприимчивости, — если б воинские его дарования хотя немного уступали неустрашимости и самоотвержению, которые он посеял в воинах, исполнявших его предначертания? Если б, подобно всем полководцам своего времени, он продолжал идти тесною стезею искусства, проложенною посредственностью, и не шагнул исполински и махом на пространство широкое, разгульное, им одним угаданное, и которое до сей поры никто не посещал после него, кроме Наполеона?

Случай, который я хочу рассказывать, требует несколько предварительных замечаний об этом предмете, чтобы сделаться понятным во всех своих подробностях. Они не будут длинны.

Суворов застал военное искусство основанным на самых жалких началах. Наступательное действие состояло в движении войск, растянутых и рассеянных по чрезмерному пространству, чтобы, как говорили тогда, *охватить оба крыла противника и поставить его между двух огней*. Оборонительное действие не уступало в нелепости наступательному. Вместо того, чтобы, пользуясь сим рассеянием войск противника, ударить совокупно на средину, разреженную и слабую от чрезмерного протяжения линии, и, разорвав ее на две части, поражать каждую порознь, — полководцы, действовавшие оборонительно, растягивали силы свои наравне с наступательною армиею, занимая и защищая каждый путь, каждую тропинку, каждое отверстие, которым она могла к ним приблизиться. Некоторые, — и те почитались уже превосходнейшими вождями, — некоторые решались изменять оборонительное действие в наступательное, растягивая силы свои еще более растянутых сил неприятельской армии, чтобы, с своей стороны, *охватить оба ее крыла* и поставить ее *между двух огней* обоих крыл своих. К этому надобно прибавить так называемые демонстрации отряженными для сего частями армии на далекое расстояние, отчего только уменьшалась числительная сила главной массы, определенной для боя. К демонстрациям можно присоединить фальшивые атаки, которые никого не обманывают; размеренные переходы войск, которые только способствовали неприятелю рассчитывать время их прибытия к мете, им назначенной, следственно и предупреждать намерения их начальника; и, наконец, большую заботливость о механическом устройстве подвозов с пищею в определенные сроки, чем о предметах, касающихся собственно до битв, и тем самым полное подданство военных соображений и действия соображению и действию чиновников, управляющих способами пропитания армии. Такова была стратегия того времени! Тактика представляла не менее нелепостей; когда дело доходило до сражения, важнейшие условия для принятия битвы состояли в избрании местоположения более или менее возвышенного, в примкнутии обоих крыл армии к искусственным или природным препятствиям и в отражении оттуда неприятельских усилий, *не двигаясь с места*. При нападении на неприятеля — употребление фальшивых атак, которые никого не обманывали, и действие более огнем, чем холодным оружием; нигде решительности, везде ошупь и колебание воли.

Можно представить себе, как поступил с таковыми преградами гений беспокойный, своенравный, независимый.

Еще полковником Астраханского гренадерского полка, на маневрах у Красного Села, где одна сторона предводительствуема была графом Паниным, а другая самой Екатериною, Суворов, который давно уже негодовал на методические движения, в то время почитаемые во всей Европе совершенством военного искусства, и на долговременную стрельбу во время боя, — по мнению его ничего не решавшую, — осмелился показать великой монархине и своим начальникам образ действия, приличнейший для духа русского солдата, и испортил маневр порывом своевольным и неожиданным. Среди одного из самых педантических движений, сопряженного с залпами *плутонгами* и *полуплутонгами*, он вдруг прекратил стрельбу своего полка, двинулся с ним вон из линии, ворвался в средину противной стороны, замешал часть ее и все предначертания и распоряжения обоих начальников перепутал и обратил все в хаос. Спустя несколько месяцев, когда ему предписано было идти с полком из Петербурга в Ригу, он не пропустил и этого случая, чтобы не открыть глаз и не обратить внимания на пользу, какую могут принести переходы войск, выступающие из расчета, укоренившегося навыком и употребляемого тогда всеми без исключения. Посадив один взвод на подводы

и взяв с ним полную казну и знамя, он прибыл в восемь дней в Ригу и оттуда донес нарочным о дне прибытия полка на определенное ему место рапортом в Военную коллегию, изумленную таковой поспешностью. Вскоре прибыла и остальная часть полка, но не в тридцать суток, как предписано было по маршруту, а не более как в четырнадцать суток. Одна Екатерина, во всей России, поняла и молодого полковника и оба данные им наставления, и тогда же она сказала о нем: «Это мой собственный, будущий генерал!»

После такого слова легко было и не Суворову идти к цели свободно и без опасения препятствий; что же должен был сделать Суворов с своею предприимчивостью, с своею железною волею? И как он этим воспользовался!

Он предал анафеме всякое оборонительное, еще более отступательное действие в российской армии и сорок лет сряду, то есть от первого боевого выстрела до последнего дня своей службы, действовал не иначе, как наступательно.



Сражение при Рымнике 11 сентября 1789 г. ГИМ.

Он совокуплял все силы и всегда воевал одною массою^[5], что давало ему решительное превосходство над рассеянным того времени образом действий, принятым во всей Европе, — образ действия, и поныне употребляемый посредственностью, следовательно, неослабно и беспрестанно: ибо везде дорывается она до власти преимущественно пред дарованием, по существу своему гордо-скромным.

Что касается до чистого боевого действия, Суворов или стоял на месте, вникая в движения противника, или, проникнув их, стремглав бросался на него усиленными переходами, которые доныне именуются *суворовскими*, и падал, как снег на голову.

Следствием таких летучих переходов, предпринимаемых единственно для изумления неприятеля внезапным для него нападением во время его расплоха и неготовности к бою, было предпочтение Суворовым холодного оружия огнестрельному. И нельзя быть иначе: не вытягивать же линии и не завязывать дело канонадою и застрельщиками, чтобы, встревожив противника нечаянным появлением, дать ему время прийти в себя, оглядеться, устроиться и привести положение атакованного в равновесие с положением атакующего! И весь этот образ действия, им созданный, приспособлялся к местностям и обстоятельствам его чудесным, неизъяснимым даром мгновенной сметливости при избрании выгоднейшего стратегического пути между путями, рассекающими область, по которой надлежало ему двигаться, и тактической точки поля сражения, на коем надлежало ему сражаться. По этому пути и на эту точку устремлял он все свои силы, не отвлекая их никакими посторонними происшествиями, случаями и предметами, — как не отвлекал он до конца жизни мыслей и чувств своих от единственной господствовавшей над ним страсти — страсти к битвам и славе военной.

Из кратких выписок его приказов или так называемых заметок мы видим лишь похвалы штыку и презрение к ружейной пальбе; это значило, что надо было, избегая грома, часто мало вредящего и отсрочивающего развязку битв, сблизиться с неприятелем грудь с грудью в рукопашной схватке. Везде видна решительность и быстрота, а не действие ошупью. Он любил решительность в действиях и лаконизм в речах; длинные донесения и рассказы приводили его в негодование. Он требовал «да» или «нет», или

лаконическую фразу, выражающую мысль двумя-тремя словами. Он был непримиримым врагом немогузнаек, о которых говорил: «От проклятых немогузнаек много беды». Однажды Суворов спросил гренадера: «Далеко ли отсюда до дальнейшей звезды?» — «Три суворовских перехода», — отвечал гренадер. Презируя действия, носящие отпечаток робости, вялости, излишней расчетливости и предусмотрительности, он старался возбудить в войсках решительность и смелость, которые соответствовали бы его залетным движениям.

Суворов в конце своего знаменитого поприща предводительствовал австрийцами против французов^[6]; он покорила Италию, в которой много буйных голов обнаруживали явную непокорность законным властям. Пусть австрийцы, французы, италийцы скажут: где и в каком случае Суворов обнаружил жестокость и бесчеловечие? К концу кампании половина армии Моро с генералами Груши, Периньон, Виктор, Гардан и другими были взяты в плен. Обращение Суворова с пленными и вышеупомянутыми лицами могло ли сравниться с поведением австрийцев и англичан, которые томили своих пленных в смрадных, сырых казематах крепостей и понтонах?

Все немало изумлялись постоянству, с которым Суворов с юных лет стремился к достижению однажды избранной им цели, и выказанной им твердости душевной, необходимой для всякого гения, сколько бы он ни был глубок и обширен. Я полагаю, что еще в юности Суворов, взвесив свои физические и душевные силы, сказал себе: «Я избираю военное поприще и укажу русским войскам путь к победам; я приучу их к перенесению лишений всякого рода и научу их совершать усиленные и быстрые переходы». С этой целью он укрепил свое слабое тело упражнениями разного рода, так что, достигнув семидесятилетнего возраста, он ежедневно ходил по десяти верст; употребляя пищу простую и умеренную, он один раз в сутки спал на свежем сене и каждое утро обливался несколькими ушатами воды со льдом.

Избрав военное поприще, он неминуемо должен был встретить на нем много препятствий со стороны многочисленных завистников и вынести немало оскорблений.

Первым он противопоставил Диогеновскую бочку, и пока они занимались осуждением его причуд и странностей, он ускользал от их гонения; пренебрегая вторыми, он терпеливо следовал по единожды избранному пути. Он стремился к одной главной цели — достижению высшего звания, для употребления с пользой необычайных дарований своих, которые он сознавал в себе. Он мечтал лишь о славе, но о славе чистой и возвышенной; эта страсть поглотила все прочие, так что в эпоху возмужалости, когда природа влечет нас более к существенному, нежели к идеальному, Суворов казался воинственным схимником. Избегая общества женщин, развлечений, свойственных его летам, он был нечувствителен ко всему тому, что обольщает сердце. Ненавистники России и, к сожалению, некоторые русские не признают в нем военного гения; пятидесяти-трехлетнее служение его не было ознаменовано ни одной неудачей; им были одержаны блестящие победы над знаменитейшими полководцами его времени, и имя его до сих пор неразлучно в понятиях каждого русского с высшею степенью военного искусства; все это говорит красноречивее всякого панегирика.

Предвидя, что алчность к приращению имения может увеличиваться с годами, он заблаговременно отстранил себя от хозяйственных забот и постоянно избегал прикосновения с металлом, питающим это недостойное чувство. Владея девятью тысячами душами, он никогда не знал количества получаемых доходов; будучи еще тридцати лет от роду, он поручил управление имениями своим родственникам, которые

доставляли его адъютантам, избираемым всегда из низшего класса военной иерархии, ту часть доходов, которая была необходима для его умеренного рода жизни^[7].



Взятие Измаила 11 декабря 1790 г.
ГИМ.

Познание слабостей человечества и неослабное наблюдение за самим собою составляли отличительную черту его философии; когда старость и думы покрыли чело его сединами и морщинами, достойными наблюдения Лафатера, он возненавидел зеркала, которые надлежало выносить из занимаемых им покоев или закрывать полотном, и часы, которые также выносили из занимаемых им комнат. Многим эти оригинальные причуды казались весьма странными; они относили их к своенравию Суворова. Обладая в высшей степени духом предприятия, он, подобно свежему юноше, избегал всего того, что напоминало ему о времени, и изгонял мысль, что жизнь его уже приближается к концу. Он не любил зеркал, вероятно, потому, что мысль увидеть себя в них стариком могла невольно охладить в нем юношеский пыл, убить в нем дух предприятия, который требовал всей мощи душевной, всей любви к случайностям, которые были свойственны лишь молодости. Фридрих Великий, имея, вероятно, в виду ту же самую цель, стал румяниться за несколько лет до своей кончины.

Таким образом, укрепив свое тело физическими упражнениями, введя в заблуждение зависть своими причудами, терпеливо перенося разного рода оскорбления, наблюдая постоянно за собою и, наконец, предавшись душою лишь страсти к славе, Суворов, с полной уверенностью в силе своего гения, ринулся в военное поприще. Он достиг генерал-майорского чина лишь на сорок первом году жизни, то есть в такие лета, когда ныне многие, удостоившись получить это звание, спешат уже оставить службу. Кто из нас не видал тридцатилетних генерал-майоров, ропщущих на судьбу, препятствующую им достигнуть следующего чина через несколько месяцев? Суворов при производстве своем в генерал-майоры был почти вовсе неизвестен, но зато какой быстрый и изумительный переход от этой малой известности к великой и неоспоримой славе! Генерал Фуа сказал о Наполеоне:

«Подобно богам Гомера, он, сделав три шага, был уже на краю света». Слова этого известного генерала могут быть вполне применены к нашему великому и незабвенному Суворову.

И этого-то человека судьба позволила мне видеть и, что еще для меня лестнее, разменяться с ним несколькими словами в один из счастливейших дней моей жизни!

Вот как это было.

За несколько месяцев до восстания Польши Суворов командовал корпусом войск, расположенных в губерниях Екатеринославской и Херсонской. Корпусная квартира его была в Херсоне. Четыре кавалерийские полка, входившие в состав корпуса: Переяславский конно-егерский, Стародубский и Черниговский карабинерные и Полтавский легкоконный — стояли лагерем близ Днепра, в разных пунктах, но близких один к другому. Полтавский находился у села Грушевки, принадлежавшего тогда княгине Елене Никитишне Вяземской, после того, как уверяли меня, какому-то Стиглицу, а нынче — не знаю кому. Дом, занимаемый нашим семейством, был высокий и обширный, но выстроенный на скорую руку для императрицы Екатерины во время путешествия ее в

Крымскую область. Лагерь полка отстоял от дома не далее ста шагов. Я и брат мой жили в лагере.

В одну ночь я услышал в нем шум и сумятицу. Выскочив из палатки, я увидел весь полк на конях и на лагерном месте одну только нашу палатку неснятою. Я бросился узнать причину этого неожиданного происшествия. Мне сказали, что Суворов только что приехал из Херсона в простой курьерской тележке^[8] и остановился в десяти верстах от нас, в лагере одного из полков, куда приказал прибыть всем прочим полкам на смотр и маневры.

Я был очень молод, но уже говорил и мечтал только о Суворове. Можно вообразить взрыв моей радости! Впрочем, радость и любопытство овладели не одним мною. Я помню, что покойная мать моя и все жившие у нас родственники и знакомые, лакеи, кучера, повара и служанки, все, что было живого в доме и в селе, собиралось, спешило и бежало туда, где остановился Суворов, чтобы хоть раз в жизни взглянуть на любимого героя, на нашего боевого полубога. Заметим, что тогда еще не было ни побед его в Польше, ни побед его в Италии, ни победы его *над самою природою на Альпах*, этой отдельной пиндарической оды, заключившей грандиозную эпопею подвигов чудесного человека.

Вскоре мать моя и мы отправились вслед за полком и за любопытными и остановились в пустом лагере, потому что войска были уже на маневрах. Суворов приказал из каждого полка оставить по малочисленной команде для разбития палаток, а с прочими войсками начал действовать, и действовать *по-своему*: маневр кипел, подвигался и кончился в семнадцати верстах от лагерного места. К полудню войска возвратились. Отец мой, запыленный, усталый и окруженный своими офицерами, вошел к нам в палатку. Рассказы не умолкали. Анекдоты о Суворове, самые пролетные его слова, самые странности его передавались с восторгом из уст в уста. Противна была только требуемая им от конницы *лишняя* (как говорили тогда офицеры) быстрота в движениях и продолжительное преследование мнимого неприятеля, изнурявшее людей и лошадей.

Но всего более не нравился многим следующий маневр: Суворов разумел войско оружием, а не игрушкой, и потому требовал, чтобы каждый род войска подчинял все второстепенно касающееся до боевого дела, — как, например, свою красоту и стройность, — той цели, для которой он создан. Существенная обязанность конницы состоит в том, чтобы *врезываться* в неприятельские войска, какого бы они рода ни были; следственно, действие ее не ограничивается одной быстротою скака и равенством линий во время скака. Ей должно сверх того вторгаться в средину неприятельской колонны или фронта и рубить в них все, что ни попадется под руку, а не, проскакав некоторое расстояние, быстро и стройно обращаться вспять под предлогом испуга лошадей от выстрелов, не коснувшись ни лезвием, ни копытом до стреляющих. Для прекращения подобной отговорки Суворов приучал лошадей им командуемой конницы к скаку во всю прыть, вместе с тем приучал и к проницанию в средину стреляющего



Сражение на реках Треббия и Тидони. Худ. А. Е. Коцебу. 1850-е гг. Фрагмент.

фронта, на который производится нападение. Но чтобы вернее достигнуть этой цели, он не прежде приступал к последнему маневру, как при окончании смотра или ученья, уверенный в памяти лошадей о том построении и даже о том командном слове, которым прекращается зависимость их от седоков.

Для этого он спешивал половинное число конных войск и становил их с ружьями, заряженными холостыми патронами, так, чтобы каждый стрелок находился от другого в таком расстоянии, сколько нужно одной лошади для проскока между ними; другую же половину оставлял он на конях и, расставя каждого всадника против промежутка, назначенного предварительно для проскока в пехотном фронте, приказывал идти в атаку. Пешие стреляли в самое то время, как всадники проскакивали во всю прыть сквозь стреляющий фронт; проскочив, они тотчас слезали с лошадей, и этим заключался каждый смотр, маневр или ученье. Посредством выбора времени для такого маневра лошади так приучились к выстрелам, пускаемым, можно сказать, в их морду, что вместо страха они, при одном взгляде на построение против них спешивающихся всадников с ружьями, предчувствуя конец трудам своим, начинали ржать и рваться вперед, чтобы, проскакав сквозь выстрелы, возвратиться на покой в свои коновязи или конюшни. Но эти проскоки всадников сквозь ряды спешившихся солдат часто дорого стоили последним. Случалось, что от дыма ружейных выстрелов, от излишней торопливости всадников или от заноса некоторых своенравными лошадьми не по одному, а по несколько вдруг, они попадали в промежуток, назначенный для одного: это причиняло увечье и даже смертоубийство в пехотном фронте. Вот отчего маневр был так неприятен тем, кому выпадал жребий играть роль пехоты. Но эти несчастные случаи не сильны были отвратить Суворова от средства, признанного им за лучшее для приучения конницы к поражению пехоты: когда доносили ему о числе жертв, затоптанных первою, он обыкновенно отвечал: «Бог с ними! Четыре, пять, десять человек убью; четыре, пять, десять тысяч выручу», — и тем оканчивались все попытки доносящих, чтобы отвлечь его от этого единственного способа довести конницу до предмета, для которого она создана.

За полчаса до полночи меня с братом разбудили, чтобы видеть Суворова или, по крайней мере, слышать слова его, потому что ученье начиналось за час до рассвета, а в самую полночь, как нас уверяли, он выбежит нагой из своей палатки, ударит в ладоши и прокричит петухом: по этому сигналу трубачи затрубят *генерал-марш*, и войско станет седлать лошадей, ожидая *сбора*, чтобы садиться на них и строиться для выступления из лагеря. Но, невзирая на все внимание наше, мы не слышали ни хлопанья в ладоши, ни крика петухом. Говорили потом, что он не только в ту ночь, но никогда, ни прежде, ни после, сего не делывал, и что все это была одна из выдумок и увеличение разных странностей, которые ему приписывали.

До рассвета войска выступили из лагеря, и мы, спустя час по их выступлении, поехали вслед за ними в коляске. Но угонишься ли за конницею, ведомою Суворовым? Бурные разливы ее всеминутно уходили от нас из виду, оставляя за собою один гул. Иногда между эскадронами, в облаках пыли, показывался кто-то скачущий в белой рубашке, и в любопытном народе, высыпавшем в поле для одного с нами предмета, вырывались крики: «*Вот он, вот он! Это он, наш батюшка, граф Александр Васильевич!*» Вот все, что мы видели и слышали. Наскучив, наконец, бесплодным старанием хотя однажды взглянуть на героя, мы возвратились в лагерь в надежде увидеть его при возвращении с маневров, которые, как нас уверяли, должны были окончиться ранее, чем накануне.

И подлинно, около десяти часов утра все зашумело вокруг нашей палатки и закричало: «Скачет, скачет!» Мы выбежали и увидели Суворова во ста саженьях от нас, скачущего во всю прыть в лагерь и направляющегося мимо нашей палатки.

Я помню, что сердце мое упало, — как *после* упало при встрече с любимой женщиной. Я весь был взор и внимание, весь был любопытство и восторг, и как теперь вижу толпу, составленную из четырех полковников, из корпусного штаба, адъютантов и ординарцев, и впереди толпы Суворова — на саврасом калмыцком коне, принадлежавшем моему отцу, в белой рубашке, в довольно узком полотняном нижнем платье, в сапогах вроде тоненьких ботфорт, и в легкой, маленькой солдатской каске формы того времени, подобно нынешним каскам гвардейских конно-гренадеров. На нем не было ни ленты, ни крестов, — это мне очень памятно, как и черты сухощавого лица его, покрытого морщинами, достойными наблюдения Лафатера, как и поднятые брови и несколько опущенные веки; все это, невзирая на детские лета, напечатлелось в моей памяти не менее его одежды. Вот почему не нравится мне ни один из его бюстов, ни один из портретов его, кроме портрета, писанного в Вене во время проезда в Италию, с которого вернейшая копия находится у меня, да бюста Гишара, изваянного по слепку с лица после его смерти: портрет, искусно выгравированный Уткиным, не похож: он без оригинального выражения его физиономии, спящ и безжизнен.



Представление юного Дениса Давыдова А. В. Суворову. Рис. А. Коцебу.

Когда он несся мимо нас, то любимый адъютант его, Тищенко, — человек совсем необразованный, но которого он перед всеми выставлял за своего наставника и как будто слушался его наставлений, — закричал ему: «Граф! что вы так скачете; посмотрите, вот дети Василья Денисовича». «Где они? где они?» — спросил он и, увидя нас, повернул в нашу сторону, подскакал к нам и остановился. Мы подошли к нему ближе. Поздоровавшись с нами, он спросил у отца моего наши имена; подозвав нас к себе еще ближе, благословил нас весьма важно, протянул каждому из нас свою руку, которую мы поцеловали, и спросил меня: «Любишь ли ты солдат, друг мой?» Смелый и пылкий ребенок, я со всем порывом детского восторга мгновенно отвечал ему: «Я люблю графа Суворова; в нем все — и солдаты, и победа, и слава». — «О, Бог помилуй, какой удалой! — сказал он. — Это будет военный человек; я не умру, а он уже три сражения выиграет! А этот (указав на моего брата) пойдет по гражданской службе». И с этим словом вдруг повернул лошадь, ударил ее нагайкою и поскакал к своей палатке.

Суворов в сем случае не был пророком: брат мой весь свой век служил в военной службе и служил с честью, что доказывают восемь полученных ран, — все, кроме двух, от холодного оружия, — ран, издавеча не получаемых; а я не командовал ни армиями, ни даже отдельными корпусами; следовательно, не выигрывал и не мог выигрывать сражений. При всем том слова великого человека имели что-то магическое: когда, спустя семь лет, подошло для обоих нас время службы и отцу моему предложили записать нас в Иностранную коллегию, то я, полный слов героя, не хотел другого поприща, кроме военного; брат мой, озадаченный, может быть, его предсказанием, покорился своей судьбе и, прежде чем поступил в военное звание, около году служил в Московском архиве иностранных дел юнкером.

В этот день все полковники и несколько штаб-офицеров обедали у Суворова. Отец мой, возвратясь домой, рассказывал, что пред обедом он толковал о маневре того дня и делал некоторые замечания. Как в этом маневре отец мой командовал второю линию, то Суворов, обратясь к нему, спросил: «Отчего вы так тихо вели вторую линию во время третьей атаки первой линии? Я посылаю к вам приказание прибавить скоку, а вы все продолжали тихо подвигаться!» Такой вопрос из уст всякого начальника не забавен, а из уст Суворова был, можно сказать, поразителен. Отец мой известен был в обществе необыкновенным остроумием и присутствием духа в ответах; он, не запутавшись, отвечал ему: «Оттого, что я не видел в том нужды, ваше сиятельство!» — «А почему так?» — «Потому, что успех первой линии этого не требовал: она не переставала гнать неприятеля. Вторая линия нужна была только для смены первой, когда та устанет от погони. Вот почему я берег силу лошадей, которым надлежало впоследствии заменить выбившихся уже из сил». — «А если бы неприятель ободрился и опрокинул бы первую линию?» — «Этого быть не могло: ваше сиятельство были с нею!» Суворов улыбнулся и замолчал. Известно, что он морщился и миглом обращался спиною в ответ на самые утонченные лести и похвалу, исключая тех только, посредством которых разглашалась и укоренялась в общем мнении его непобедимость; эту лести и похвалу он любил и любил страстно, вероятно, не из тщеславия, а как нравственную подмогу и, так сказать, заблаговременную подготовку непобедимости.

Вечером мы с матерью нашей и со всеми домашними поспешили обратно в Грушевку. Важное происшествие приготовлялось для нашего дома. Суворов, по особенной благосклонности к моему отцу, сам назвался к нему на обед. Не помню точно, но, кажется, это было во время Петровского поста, или день обеда был в среду или пятницу; только мне весьма памятли хлопоты и суматоха в доме для приискания поболее и получше рыбы и для приготовления других любимых им блюд.

Не менее забот было и при устройстве приема и угощения знаменитого гостя, — так, чтобы ход обыкновенного его образа жизни и привычных странностей и прихотей не получил ни малейшего изменения.

К восьми часам утра все было устроено. В гостиной поставлен был большой круглый стол с разными постными закусками, с *благородного размера* рюмкою и с графином водки. В столовой накрыт был стол на двадцать два прибора, без малейшего украшения посреди, без ваз с фруктами и с вареньем, или без плато, как тогда водилось, и без фарфоровых кукол на нем. Ничего этого не было; Суворов этих прихотей ненавидел. Поставлен был длинный стол, на нем скатерть, а на скатерти двадцать два прибора, и все тут. Не было даже суповых чаш на столе, потому что кушанья должны были подаваться одно за другим, с самого пыла кухонного огня, прямо к сидящим за трапезою; так обыкновенно делывалось у Суворова. В одной из отдельных горниц за столовой

приготовлены были: ванна, несколько ушатов с холодной водою, несколько чистых простынь и переменное его белье и одежда, привезенные из лагеря.

Маневры того дня кончились в семь часов утра, то есть в семь часов утра войска были уже на марше к лагерю. Отец мой, оставив свой полк на походе, поскакал в лагерь во всю прыть своего черкесского коня, на котором был на маневрах, чтобы там переменить его, скорее приехать к нам и до прибытия Суворова исправить то, что требовало исправления для его принятия. Уже он был на половине пути от лагеря к Грушевке, как вдруг с одного возвышения увидел около двух верст впереди себя, но несколько в боку — всадника с другим всадником, отставшим довольно далеко; оба они скакали во все поводья по направлению к Грушевке; это был Суворов с одним из своих ординарцев, скачущий туда прямо с маневров. Отец мой усилил прыть своей лошади, но не успел приехать к нашему дому прежде сего шестидесятитрехлетнего старца-юноши. Он нашел уже его, всего опыленного, на крыльце, трепавшего коня своего и выхвалявшего качества его толпе любопытных, которою был окружен. «Помилуй Бог, славная лошадь! Я на такой никогда не ездил. Это не-двужильная, а трехжильная!»^[9] Тут отец мой пригласил и провел его в приготовленную ему комнату, а сам занялся туалетом: подобно Суворову, он весь покрыт был пылью, так что нельзя было угадать черт лица его.

Начали наезжать приглашенные на этот же обед другие гости: я помню тогда дежурного генерала при Суворове — Федора Ивановича Левашова, майора Чорбу, Тищенко, о котором сказал прежде. Тут были также полковники полков, собранных на маневры, все чиновники корпусного штаба Суворова, с ним прибывшие, и несколько штаб-офицеров Полтавского полка. Из полковников памятны мне только Юрий Игнатьевич Поливанов (кажется, тогда уже в бригадирском чине) и подполковник Карл Федорович Гейльфрейх. Все сии гости были в полном параде, в шарфах, и все находились в гостиной, где был отец мой, одетый подобно другим, во всю форму, мать моя, мы и одна пожилая госпожа, знакомая моей матери, приехавшая из Москвы вместе с нами. Она с первого взгляду не понравилась Суворову и была предметом насмешливых взглядов и шуток во все время пребывания его у нас.

Мы все ожидали выхода Суворова в гостиную. Это продолжалось около часу времени. Вдруг растворились двери из комнат, отделенных столовою от гостиной, и Суворов вышел оттуда чист и опрятен, как младенец после святого крещения. Волосы у него были, как представляются на его портретах. Мундир на нем был генерал-аншефский того времени, легкоконный, то есть темно-синий с красным воротником и отворотами, богато шитый серебром, нараспашку, с тремя звездами. По белому летнему жилету лежала лента Георгия первого класса; более орденов не было. Летнее белое, довольно узкое исподнее платье и сапоги, доходившие до половины колена, вроде легких ботфорт; шпага на бедре. В руках ничего не было, — ни шляпы, ни каски. Так я в другой раз увидел Суворова.

Отец мой вышел к нему навстречу, провел его в гостиную и представил ему мать мою и нас. Он подошел к ней, поцеловал ее в обе щеки, сказал ей несколько слов о покойном отце ее, генерал-поручике Щербинине, бывшем за несколько лет пред тем наместником Харьковской, Курской и Воронежской губерний. Каждого из нас благословил снова, дал нам поцеловать свою руку и сказал: «Это мои знакомые», — потом, обратясь ко мне, повторил: «О, этот будет военным человеком! Я не умру, а он выиграет три сражения». Тут отец мой представил ему родную сестру мою, трехлетнего ребенка. Он спросил ее: «Что с тобою, моя голубушка? Что ты так худа и бледна?» Ему отвечали, что у нее лихорадка. «Помилуй Бог, это нехорошо! Надо эту лихорадку хорошенько высечь розгами, чтоб она ушла и не возвращалась к тебе». Сестра подумала,

что сеченье предлагается ей самой, а не лихорадке, и едва не заплакала. Тогда, обратясь к пожилой госпоже, Суворов сказал: «А об этой и спрашивать нечего; это, верно, какая-нибудь *мадамка*». Слова сии сказаны были без малейшей улыбки и весьма хладнокровно, что возбудило в нас смех, от которого едва мы воздержались. Но он, не изменяя физиономии, с тем же хладнокровием подошел к столу, уставленному закусками, налил рюмку водки, выпил ее одним глотком и принялся так плотно завтракать, что любо.

Спустя несколько времени отец мой пригласил его за обеденный стол. Все разместились. Подали щи кипячие, как Суворов обыкновенно кушивал: он часто любил их хлебать из самого горшка, стоявшего на огне. Я помню, что почти до половины обеда он не занимался ничем, кроме утоления голода и жажды, среди глубокого молчания; и что он обе эти операции производил, можно сказать, ревностно и прилежно. Около половины обеда пришла черед и разговорам. Но более всего остались у меня в памяти частые насмешки его над пожилою госпожой, что нас, детей, чрезвычайно забавляло, да и старших едва не увлекало к смеху. В течение всего обеда он, при самых интересных разговорах, не забыл ловить каждый взгляд ее, как скоро она обращалась в противную от него сторону, и мгновенно бросал какую-нибудь шутку на ее счет. Когда она, услышав его голос, оборачивалась на его сторону, он, подобно школьнику-повесе, потуплял глаза в тарелку, не то обращал их к бутылке или стакану, показывая, будто занимается питьем или едою, а не ею. Так, например, взглянув однажды на нее тогда, как она всматривалась в гостей, он сказал вполголоса, но довольно явственно: «Какая тетеха!» И едва успела она обратиться на его сторону, как глаза его опущены уже были на рыбу, которую он кушал весьма внимательно. В другой раз, заметив, что она продолжает слушать разговоры тех же гостей, он сказал: «Как вытаращила глаза!» В третий раз, увидев то же, он произнес: «Они там говорят, а она сидит да глядит!»

Тищенко сказывал после, что из одного только уважения к матери моей Суворов ограничил подобными выходками нападки свои на госпожу, которая ему не понравилась, но что обыкновенно он, дабы избавиться от присутствия противной ему особы, при первой встрече с нею восклицал: «Воняет, воняет! Курите, курите!» И тогда привычные к нему чиновники, зная уже, до кого речь касается, тайно подходили к той особе и просили ее выйти из комнаты. Тогда только прекращались его восклицания.

После обеда он завел речь о лошади, на которой ездил на маневрах и приехал к нам на обед. Хвалил ее прыткость и силу и уверял, что никогда не ездил на подобной, кроме одного раза в сражении под *Кослуджи*. «В сем сражении, — сказал он, — я отхвачен и преследуем был турками очень долго. Зная турецкий язык, я сам слышал уговор их между собою, чтобы не стрелять по мне и не рубить меня, а стараться взять живого: они узнали, что это был я. С этим намерением они несколько раз настигали меня так близко, что почти руками хватились за куртку; но при каждом их наскоке лошадь моя, как стрела, бросалась вперед, и гнавшие за мною турки отставали вдруг на несколько сажений. Так я спасся!»

Пробыв у нас около часа после обеда весьма разговорчивым, веселым и без малейших странностей, он отправился в коляске в лагерь и там отдал следующий приказ:

«Первый полк отличный; второй полк хорош; про третий ничего не скажу; четвертый никуда не годится».

В приказе полки означались собственным именем каждого; я назвал их номерами. Не могу умолчать, однако, что первый номер принадлежит Полтавскому легкоконному полку.

По отдавании этого приказа Суворов немедленно сел на перекладную тележку и поскакал обратно в Херсон.

Спустя несколько месяцев после мирных маневров конницы и насмешек над пожилою госпожой на берегах Днепра, Польское королевство стояло уже вверх дном, и Прага, залитая кровью, курилась ^[10].

Все представлявшиеся были приглашены к обеденному столу Суворова, который имел обыкновение садиться за стол в девять часов утра. Приглашенные заняли места по старшинству за столом, на котором была поставлена простая фаянсовая посуда. Перед обедом Суворов, не поморщившись, выпил большой стакан водки. Подали сперва весьма горячий и отвратительный суп, который надлежало каждому весь съесть; после того был принесен затхлый балык на конопляном масле; так как было строго запрещено брать соль ножом из солоницы, то каждому следовало заблаговременно отсыпать по кучке соли возле себя. Суворов не любил, чтобы за столом катали шарики из хлеба; замеченному в подобной вине тотчас приносили рукомойник с водой; А. М. Каховский, замечательный по своему необыкновенному уму, избавился от подобного наказания лишь острым словом.



Последний прижизненный портрет А. В. Суворова в мундире гвардейского Преображенского полка. Худ. И. Крейцингер. 1799 г.

Опасаясь после штурма Праги быть застигнутым неприятелем врасплох, Суворов приказал артиллерии сжечь большой мост, ведущий в Варшаву, где в то время находилось еще десять тысяч хорошего войска под начальством Вавжецкого. В нашем лагере все ликовало после удачного штурма и пило по случаю победы; солдаты Фанагорийского полка, не будучи в состоянии чистить свое оружие, наняли для этого других солдат. Погода стояла хорошая, но весьма холодная; из поднятых палаток поднимался пар от красных лиц солдат, что доставляло немало удовольствия Суворову, говорившему: «Помилуй Бог, после победы день пропить ничего, лишь бы начальник позаботился принять меры противу внезапного нападения». Он приказал построить узкий мост для пешеходов, по которому было дозволено жителям приходить в Прагу для отыскания тел своих ближних. Суворов справедливо рассчитал, что это ужасное зрелище должно неминуемо поколебать мужество поляков; в самом деле, Варшава вскоре сдалась. Суворов торжественно отправился в карете в королевский дворец; в карете сидел против него дежурный генерал Потемкин, человек замечательного ума (он служил впоследствии на Кавказе и сделал на воротах Екатеринограда, обращенных к стороне Тифлиса, надпись: «Дорога в Грузию»). Король встретил его у подъезда. Простившись с его величеством, Суворов не допустил его сойти с лестницы. Во время выступления польских войск в числе десяти тысяч человек из Варшавы казачьему майору Андрею Карповичу Денисову удалось захватить всех польских начальников, беспечно завтракавших в гостинице; подъехав после того к польским войскам, Денисов, с хлыстиком в руках, приказал им положить оружие, что и было тотчас исполнено. (Это было мне сообщено А. П. Ермоловым.)

В 1820 году этот самый Денисов, уже в чине генерал-лейтенанта, был отдан под суд, за превышение власти, генералом А. И. Чернышевым. А. П. Ермолов, будучи вызван около этого времени в Лайбах для начальствования армиею в Италии и захав дорогой в Новочеркасск, узнал о том от Болгарского, правителя канцелярии Чернышева. Убедившись в невинности храброго генерала Денисова, он решил его спасти. Прибыв в

Лайбах, Алексей Петрович увидел Чернышева, который сказал ему: «Я слышал, что вы находите мой поступок несправедливым; но я не мог не подвергнуть суду Денисова, превысившего власть свою». На это Ермолов возразил: «Во-первых, я знаю положительно и докажу вам, что ваше обвинение несправедливо и совершенно неосновательно; во-вторых, я спрошу вас: дерзнули ли вы бы сделать малейшее замечание Матвею Ивановичу Платову, который несравненно более Денисова и весьма часто превышал свою власть, и в-третьих, я обращаю ваше внимание на следующее: я был еще ничтожным офицером, а вы — ребенком, когда этот храбрый Денисов, отличающийся Суворовым, заставил в 1794 году десятитысячный польский корпус положить оружие и спас с двумя полками пруссаков после отражения их от Варшавы». Зная благосклонность императора Александра к Ермолову, который не преминул бы довести это до сведения его величества, Чернышев нашелся вынужденным освободить Денисова из-под суда. Возвращаясь в Грузию, Ермолов проехал через Аксай, куда выехали к нему навстречу многие донцы, которые весьма любили и уважали его. В числе прибывших находился и Денисов, который приехал благодарить за ходатайство его об нем. (Мне рассказал это сам Болгарский и дополнил А. К. Денисов.)



Медаль в честь побед А. В. Суворова. 1791 г. Медальер К. Леберех. Лиц. и об. стороны. ГИМ.

Примечания

[1] Известно, что он упал к ногам императора Павла, говоря: «Боже, спаси царей!» «Вам, — сказал император, — предстоит спасать их». Видя, что Суворов с трудом подымается, государь сказал своим придворным: «Помогите встать графу». При этих словах Суворов сам быстро встал, воскликнул: «О, помилуй Бог, Суворов сам подымается, никто в том ему не помогает».

[2] Суворов просился однажды в Москву в отпуск с Моздокской линии, устройство которой ему было поручено. Так как императрица не изъявила своего согласия на продолжительный отпуск, он получил лишь пятнадцатидневный. Прибыв в Москву ночью, он благословил спящих детей и тотчас предпринял возвратный путь на линию.

[3] Однажды Военная коллегия жаловалась императрице на Суворова, в полках которого было слишком много музыкантов, что вынуждало его уменьшать число фронтовых солдат. Собран был военный совет, на котором присутствовал и Суворов, который, выслушав все мнения, сказал: «Хороший и полный хор музыкантов возвышает дух солдат, расширяет шаг; это ведет к победе, а победа к славе». Императрица вполне предоставила это дело на его благоусмотрение. (Многие сведения о великом Суворове были мне сообщены князем Андреем Ивановичем Горчаковым.)

[4] Взятие Варшавы в 1831 году без грабежа нисколько не опровергает всего мною сказанного, ибо гарнизон города имел свободный выход, которым и воспользовался. Если б гарнизон нашелся вынужденным сражаться на улицах, в домах и костелах, город подвергся бы страшным бедствиям.

[5] Рассеяние части армии на осады некоторых крепостей в Италии принадлежит единственно венскому Военному совету. Суворов неоднократно восставал на такой распорядок и два раза просил себе отъезда из армии. Не вмешивайся этот совет в его распоряжения, нет сомнения, что по превосходству числительной силы Суворова над силою французской армии и гения его над дарованиями Моро, союзные войска еще в июне месяце были бы на границах Франции, Макдональд, занимавший Неаполь, увидел бы себя без сообщения с Франциею, и Массена принужден был бы оставить Швейцарию.

[6] Маршал Макдональд сказал однажды в Париже нашему послу графу П. А. Толстому: «Хотя император Наполеон не позволяет себе порицать кампанию Суворова в Италии, но он не любит говорить о ней. Я был очень молод во время сражения при Требии; эта неудача могла бы иметь пагубное влияние на мою карьеру; меня спасло лишь то, что победителем моим был Суворов».

[7] В 1794 году Суворов, выступив из Бреста-Литовского, оставил здесь несколько гренадер для охранения имущества отставного польского полковника Детерко, опасавшегося быть разоренным русскими войсками, которые должны были следовать чрез этот город в Варшаву после выступления Суворова. После взятия Варшавы императрица наградила Суворова фельдмаршальским жезлом и местечком Кобриным, где он провел несколько суток во время проезда своего в свою главную квартиру, находившуюся в Тульчине. Явившись в Кобрин, Детерко со слезами обратился к Суворову и объявил ему, что, невзирая на присутствие оставленных гренадер, он был совершенно ограблен нашими войсками. Суворов спросил у управляющего Кобриным: «Сколько у нас денег?» На ответ управляющего: «До десяти мешков и в каждом не менее тысячи рублей», Суворов приказал все отдать Детерко, который был крайне удивлен этой щедростью. (Это мне сообщено А. П. Ермоловым.)

[8] Тележка эта хранилась у покойного отца моего как драгоценность и сожжена в Бородине, во время сражения, в 1812 году, вместе с селом, домом и всем имуществом, оставленным в доме.

[9] В народе существует предрассудок, что будто в шеях некоторых сильных и прытких лошадей находятся две особые жилы.

[10] Суворов, соединившись в Кобылках с корпусом Дерфельдена, входившим до этого времени в состав армии князя Репнина, двинулся к Праге. Авангардом этого корпуса командовал граф Валериан Александрович Зубов, которому оторвало ногу при переправе через Нарев близ деревни Поповки; ему пожаловали за то андреевский орден, что давало право на генерал-лейтенантский чин. Все офицеры корпуса Дерфельдена должны были представляться Суворову; в комнатах, где был назначен прием, невзирая на холодное время года, были заблаговременно отворены все окна и двери для выкуривания немогузнаек. Так как Суворов не любил черного цвета, то было строго запрещено представляться в нижнем платье этого цвета. В числе представляющихся находился Дерфельден, высокоуважаемый Суворовым, князь Лобанов-Ростовский (племянник князя Репнина и впоследствии министр), украшенный Георгием 3-го класса за Мачинское сражение, Ливен (впоследствии князь), капитан А. П. Ермолов, много иностранных волонтеров, в числе которых находились подполковник граф Кенсона и граф Сен-При. Суворов, обратясь к Лобанову, сказал с усмешкой: «Помилуй Бог, ведь Мачинское сражение было кровопролитно». Смотря на Ливена, он сказал: «Какой высокий, должно быть, весьма храбрый офицер. Отчего это я на вас не вижу ни одного ордена?» Сказав графу Сен-При: «Вы счастливо служите; в ваши лета я был только поручиком», он вдруг

бросился его целовать, говоря: «Ваш дядя был моим благодетелем, я ему многим обязан». Эти слова не были понятны в то время, но впоследствии узнали, что дядя Сен-При, будучи французским министром, возбудил первую турецкую войну. Обратясь к графу Кенсона, Суворов спросил его: «За какое сражение получили вы носимый вами орден и как зовут орден?» Кенсона отвечал, что орден называется Мальтийским и им награждаются лишь члены знатных фамилий. «Какой почтенный орден! — возразил Суворов. — Позвольте посмотреть его». Сняв его с Кенсона, он его показывал всем, повторяя: «Какой почтенный орден!» Обратясь потом к прочим присутствовавшим офицерам, он стал их поодиночке спрашивать: «За что получили вы этот орден?» «За взятие Измаила, Очакова и прочее», — было ответом их. «Ваши ордена ниже этого, — сказал Суворов. — Они даны вам за храбрость, а этот почтенный орден дан за знатный род».

1999, Электронная публикация выполнена [Поляковым О.](#) в рамках интернет-проекта [«1812 год»](#)
по изданию Д.В. Давыдов «Стихотворения. Военные записки» М., Олма-пресс, 1999

2010, в формат *pdf перевел [Цибанов В.](#)